

В старом потрёпанном дневнике с потемневшими страницами, принадлежавшем когда-то некому Александру П., были записаны эти воспоминания.

Севастополь, 1993 год.

Я не люблю балет! Особенно ненавижу Марсельезу, что Зинка напевала так часто. Балет стал для неё всем, он же и полюбил её...

Переехала Зиночка к нам в Севастополь в тридцать четвёртом. Семья у неё была обычная: она, мать, отец и старший брат. В нашем дворе их считали странными и не любими. Я же быстро сдружился с Костей, Зинкиным братом. Мы то на рыбалку ходим, то по двору пошумеем, то мамкиных цып похлебаем.

Частенько захаживал я к ним домой. Если везло, то видел Зиночку. Пилиш „если везло“ потому, что она выходила из своей комнаты чуть как редко: высовывает из-за двери, увидит меня, опустит свои чёрные тапочки в пол и проскользнет на кухню — только и шлеп, как накрахмаленная юбка махнет по дверному косяку. Постепенно Зиночка ко мне привыкла, а иногда даже сидела рядом и внимательно следила, как мы с Костей мучимся над картонным манетом парусника. Однажды я спросил у Кости, что она такая, а он только рукой махнул: балерина.

Так я узнал, что Зинка ещё с Ленинграда страдала балетом. Именно страдала. Косте рассказывал, что, когда его сестрице было четыре, Анна Васильевна сводила её в театр, на повестьную постановку „Маша Паритя“. С тех пор началась у неё болезнь: каждое воскресенье — поход в театр, ежедневно и ежедневно — безостановочное напевание Марсельезы, разминание суставов и прыжки по квартире, пока соседи снизу не стали жаловаться. В то время их отца, морского офицера, перевели к новому месту службы, в Севастополь,

и они уж думали: с переездом у Зины это пройдет. Не тут-то было. Девочка спрашивала у родителей пластинки с записями самых известных композиций, самоучитель по балету и книжки с биографиями великих танцовщиков. Костюм тановался: «С утра — балет, в обед — балет, после школы — балет». У нас в Севастополе с балетом было не так, чтобы очень, и преподаватели Зине найти было трудно. Поэтому девочка справилась своими силами. Все семье смотрела на то, как она падала и расшибала когти в кровь. Но Зина вставала и начинала крутить свои перуэтны заново.

Я тоже приходил смотреть. Странной у Зинки был балет, и, хотя тогда мне сравнивать было не с чем, всё равно он мне казался какими-то отчаянным. Нет, били у Зинки и пуканы, била и хакла, но сам танец... Вот представьте себе: комната с распахнутыми окнами, покрашенный тёмной краской дощатый пол, девочка с воспалёнными от недосыпа горными глазами... Она танцевала: крутилась, вышамивала на носочках замысловатые фигуры, вертела хрошеновой голубкой вправо-влево, катялась шего (в это время я представлял её по обложке, по цыпочке). Она складывала руки в купол над головой, покачивалась, как осина, в разные стороны, и всё время шептала, шептала название каких-то фигур.

Любимым приёмником у Зинки был прыжок. Каждый раз она прыгала по-другому и как мантру повторяла: фанд тете, Башонке, на де пуссон, ботри, фанд на де ша, бризе. Была ещё куча этих «фанд» и «на», но всё сводилось к тому, что Зина падала. Когда она в очередной раз расшибла колено, я, перетеливая ей ногу бинтами, спросил: «Может, ну его, этот балет?»

До сих пор помню, как она тогда непонимающе, с приниженным, недоверием шепнула на меня, поднялась и, прихрамывая, ушла на кухню. Я пошёл за ней, но Зинка больше не желала со мной разговаривать. Сначала я раскатылился, обиделся, убегал к себе и думал двое суток. А потом понял, что не видеть хотя бы разок в день эти её «фанд»

и „па“ мне мене совсем не коммьюро. Гадумеется, „гранд“ и „па“ сами по себе мене не велики — протки и протки; вот девчонки во дворе тоже через верёвочку скакали. Но то, с какими старанием Зиночка их выпрашивала, и как глаза у неё светились, когда „гранд“ и „па“ получались нам надо, вот это действительно было потрясающим зрелищем. Понимаете, балет, что соскучились, и... в дверь поскрёбсе. Зиночка тремеробалась в своей комнате. С забинтованной коленкой она стояла около собственной кровати, пока изловы, издевающие кисти рук протиснутос к лодыжкам. Пока е извинелсе, всё ксмурилась, а потом цыбнулась и сказала: „Больше никогда так не говори. Балет мне мене — всё“.

И жизнь потекла по-старому. День следовал за днём, келенка Зиночки затмила, а окончили пятый класс хорошистом. „Гранд“ и „па“ становились всё разнообразнее.

А в июне началась война.

Сперва было очень страшно, но приходилось помогать маме. В соседнем дворе, где низенькие домики замыкались в дугу „с“, была сколочена бригада: е и Косте варили мыло, Зинка вместе с другими ^{стира} жёнами в тесных тазаках окровавленные, испачканные в земле и тини кальсоны, рубашки, брюки, выполаскивая белое в мутной мыльной воде.

Мне начало казаться, что война отвлекла её от балета. Но одним тёмным сентябрьским утром, во время очередной стирки, е случайно заметил, что Зинка, оказывается, стояла без ботинок, цыралась чужими пальцами в шипящую виажную землю. В тот момент е понял: её балетная лихорадка никогда не отступит, а вид этих избитых, не раз выбитых пальцев возбудил во мне что-то дикое, ненавидящее. И так было Зинку, что ей приходится так страдать, и непонятно, зачем же она себе так мучит, и гадно потому, что это великое искусство, красивое зрелище с лёгкими движениями, на самом деле имеет совершенно другой вид, такой, как эти пальцы, с красивыми хрипами и свистами на четной девичьей коже. Я разозлился очень и ушёл темь цим две заны.

Начало победы окрасилось кровавым цветом — боша затопле- на „Армении“, а вместе с ней добрая половина всех врагов Сева- стополи. Погибла и Анна Васильевна... Погибли бош и Зинка с Кос- тей, но их не взяли. У них остались только отец, но вот, где Гри- горий Петрович, никто не знает.

Мамы тетино... Учились, работали... А по весне даже посадили лук и морковь в садике. Весной было тихо, и блаженную ти- шину эту нарушали только крики чаев и шум приборов... Види- мо, правду говорит о затишье перед бурей. Едва кончилось май, на Севастополь неземным дождем обрушились сотни бомб. Беломраморный город с неба поливали чёрной нефтью и поджига- ли. Горело всё: море, аквариум в парках, дома, люди. Дым засти- лал глаза и забивался в ноздри, заставиле натужно кашлять.

В один такой день мы с Зинкой боши на почте и ждали, когда полная немолодая женщина-заведующая вынесет нам шмоты, местами отсыревшие газетные листы, источающие терпкий за- пах типографской краски.

Я не помню шума сирен: может, их не было вовсе, может, годы стёрли этот звук из памяти. Грохот раздался над крышей, и здание пошатнулось. Сначала я даже не помню, что происхо- дит, когда задняя стена приёмной начала обваливаться. Отту- да выскочила женщина-заведующая. Её щека и плечо кровоточи- ли. Стена рухнула. За ней горели картотечка, шкафы, столы и стулья. Дальше — зияющая дыра на месте окон. Разлетелись на- лепленные обои и искорёженная арматура.

Как только мы с Зинкой подхватили женщину под ру- ки, совсем недалеко от почты раздался ещё один взрыв, и вновь земля под ногами покачнулася. Раненая в моховом соф- толежке шла медленно.

Мы выбрались на улицу. Она горела. Столбчатый огненный коридор. Справа пылали дома, слева тоже. Стёкла боши выбиты,

и их оскорми болезненно звенели. Везде что-то падало и обваливалось. Крушилось и крошилось. Было грохко, так грохко, что я не слышала собственных мыслей.

Передётками мы двигались вниз по улице. Стреляют военных самолётов и раскаты разрывающихся бомб ошущали. С высоты птичьего полёта немецкие бомбардировщики сбрасывали рельсы, и рельсы грешили — казалось, лопаются барабанные перепонки. В глазах пестрило.

Вот показались знакомый дом, во дворе которого работала когда-то наша бригада. Я не успел обрадоваться, как бомба упала совсем рядом с ним. Половина здания прямо на наших глазах рухнула, разъехалась в разные стороны каменными шарами. Дом исчез ещё до того, как мы его увидели, а после взрыва ольва вырвалась и вспыхнула особенно ярко.

Всё произошло стремительно. Зинка бросилась к дому, к теще подвезду, что был ещё цел. Бросилась через тротуарчик с выткнутой землёй. Бросилась прямо в теще. Бросилась и исчезла за стеной ольва. Я рассматривала только одно слово: „Туанты!“ Только, как в груди что-то судорожно стало.

Мне казалось, будто она с этим криком сиганула с обрыва в шубонную воду, и свидетельство этому — бульк, прозвучавший, как „Туанты!“ Только вот утопленником чувствовал себя я.

Грузная тещина нашим повисла на моём локте. Я в теще отивырнула её руку, хотел кинуться за Зинкой.

Не успел... Дом грохнул, завис на мгновение и слотился, как карточный. Поставились кертвы: несущая стена не выдержала напора.

Чьи-то руки обхватили теще за тещи, не позволив быть перебённым под завалом. Это из шоткуда появились Костя...

Гораздо позже он рассказывает, что мать послала его за ними. Рассказал, что Зинка спрятана в подвале этого дома прохителее пукты. Рассказал, как и кричал, когда эта выродившаяся в балет девушка исчезла в машине...

Я не люблю балет... Ненавижу "Тамаше Паритта", потому что, если бы не было его, Зинка, возможно, никогда бы не заболела балетом и прожила свою долю, счастливую жизнь. Может, и тещек, но чувствую в этом едва уловимую иронию. "Тамаше" много значило для Зинки, наполнило её жизнь смыслом, перевернуло и направило её судьбу в таинственное, ровное русло, и там же её поубило...

Всю жизнь я тошню по Зинке. Особенно по теще, как она напевала себе под нос: "Гранд тете, балетонне, на де пуксон, батри, гранд на де ша, бризе".